

В. С. Швырев

Мой путь в философии

Я поступил на философский факультет МГУ в 1951 г. В школе в подростковом возрасте у меня сформировался четкий интерес к социально-политической проблематике. Я любил и для своего возраста неплохо знал историю. Интересовали меня и коренные проблемы устройства мироздания, то, что можно назвать философией природы. В общем мне представлялось, что изучение философии даст мне возможность удовлетворить эти свои познавательные запросы. Но я, конечно, в то время толком не представлял, что такое философия и уж совершенно не знал, что мне лично удастся делать в философии, то есть в плане своего философского будущего у меня не было никакой ясности. Получилось так, что на факультете я попал не в философские группы, а в группу логики. Должен сказать, что это, в общем, не оказало сколько-нибудь существенного влияния на мою дальнейшую судьбу. Специалистом-логиком я не стал, в логике меня всегда интересовала не логическая техника, а ее философские, теоретико-познавательные аспекты. Помню в студенческом семинаре, который вел у нас профессор П.В.Попов, если не ошибаюсь, на втором курсе я, например, сделал доклад на тему: «Истинность и логическая правильность». В плане же собственно философской подготовки большой разницы с философскими группами у нас не было, имели место, пожалуй, даже определенные преимущества в привлечении внимания к гносеологии. Так, у нас читал интересный содержательный курс профессор В.Ф.Асмус, который назывался «История логики». Но это фактически был курс по истории гносеологии, знакомивший нас с классическими гносеологическими концепциями. Правда, у нас не было некоторых курсов по другим дисциплинам,

которые читали философам, так, к сожалению, у нас не читали психологию такие замечательные специалисты как, А.Н.Леонтьев и П.Я.Гальперин. Мы в большинстве своем честно относились к учебе, были достаточно требовательны к себе, но, естественно, при этом предъявляли соответствующие запросы и к преподаванию, но оно, в первую очередь, в области собственно философии все в большей степени разочаровывало нас. Радикальный переворот как в моей личной судьбе, так и в судьбе многих моих товарищей по факультету, ставших впоследствии видными представителями нашей философии, произошел в середине 50-х гг. В связи с появлением, выражаясь современным языком, диссидентских по отношению к официальной факультетской философии талантливых, пассионарных молодых специалистов, выдвинувших лозунги решительного преодоления догматической затхлости существовавшей в то время официальной философии. Развертывание их деятельности как важнейшего социального феномена в советской философии того времени стало возможным, разумеется, в атмосфере известной либерализации после смерти Сталина, но здесь надо иметь в виду, что, во-первых, идейно и концептуально взгляды этих людей сформировались еще в самые мрачные времена начала 50-х гг. и, во-вторых, их выдвижение на авансцену нашей факультетской жизни произошло до известных событий на XX съезде КПСС.

Этих «диссидентских» групп было две. Одну из них, т.н. гносеологов, составили Э.В.Ильенков и сотрудничавший с ним В.И.Коровиков, аспиранты, а затем молодые преподаватели факультета, к которым стали быстро примыкать многие студенты, в том числе с моего курса. Во вторую группу входили А.А.Зиновьев, Г.П.Щедровицкий, Б.А.Грушин, впоследствии к ним примкнул М.К.Мамардашвили. Идейным лидером этой группы выступал А.А.Зиновьев. Второе поколение этой группы из числа студентов философского факультета МГУ впоследствии составили Н.Г.Алексеев, В.Костеловский, В.Садовский, Д.Лахути, В.Финн, присоединился к ней и я. Общим для обеих этих групп была решительная критика существующего положения дел в философии и установка на развитие философии как формы теоретического, как бы теперь сказали, критико-рефлексивного мышления. При этом задача такой философии усматривалась не в установлении общих законов бытия, как то постулировалось официальным диалектизмом, а прежде всего в исследовании закономерностей и механизмов теоретического мышления, соответственно, из марксистской диалектической традиции в первую очередь актуализировалась проблематика «восхождения от абстракт-

ного к конкретному» как основополагающего метода этого теоретического мышления. Этот метод выступил предметом диссертаций обоих лидеров этих групп — Э.В.Ильенкова и А.А.Зиновьева. Изучение этих диссертаций, споры вокруг них, восприятие их идей как программных установок передового философского исследования в значительной степени повлияло на формирование взглядов большой группы вступающих в философскую жизнь моих товарищей, к сообществу которых принадлежал и я. Говоря о теоретических позициях этого сообщества, было бы большой ошибкой упускать из виду и нравственный, человеческий аспект. Я с очень хорошим чувством, к которому примешивается сильная ностальгия по прошлому, вспоминаю ту атмосферу, которая царил в этом сообществе, чувство причастности к высокому делу, надежды на то, что мы вышли на правильный путь. Конечно, с позиции наших дней ясно видна и определенная ограниченность идейных установок того времени и, о чем подробнее я скажу позже, объяснимая в этом возрасте наивность и эйфория. И все-таки я очень благодарен судьбе за то, что мое формирование как специалиста протекало в такой обстановке, в такой среде, в такой духовной атмосфере. Все это задало достаточно высокую планку отношений к себе, к своей работе, к своим коллегам, к задачам и целям философской деятельности, у нас не было той разобщенности, отсутствия высоких ориентиров, мелкотемья, стремления любой ценой измыслить нечто оригинальное и, тем самым, самоутвердиться, что, к сожалению, можно наблюдать среди людей, стремящихся обрести свое место в современной философии. Мы рассматривали свою конкретную работу как часть общего дела, в рамках которого всегда можно найти заинтересованность и взаимопонимание, отнюдь не исключающее нелицеприятной критики, которая всегда выступает показателем отсутствия равнодушия. Мне хотелось бы подчеркнуть, что все сказанное выше отнюдь не является описанием какого-то внешнего по отношению к моей философской судьбе положения дел. Оно характеризует эту судьбу отнюдь не в меньшей, а, может быть, в большей степени, чем указание конкретных работ и рода моих занятий, качество и результативность которых, а это, естественно, главное, определялось тем, в какой мере я сумел конструктивно реализовать положительные факторы ситуации нашей философской молодости.

Наряду с тем общим в позициях обеих указанных выше диссидентских групп существовали и значительные различия, что обуславливало, кстати, далеко не простые отношения между ними. Э.В.Ильенков во главу угла ставил задачу возрождения философской культуры, утерянной в официальном диамате, путем обращения к ис-

тории философии, прежде всего, к Гегелю и Марксу. А.А.Зиновьев и Г.П.Щедровицкий настаивали на необходимости исследования механизмов реального научного мышления, притом не только пресловутой логики «Капитала», хотя это тоже входило в задачу, но и в естественных науках на материале их конкретной истории. Восприняв эти установки, я, как и другие участники нашей группы, попытался реализовать их в своих студенческих работах. В курсовой на 4 курсе я занялся анализом категории причинности, а в дипломе — некоторыми моментами развития научных понятий на материале механики, опираясь, в частности, на разработанную А.А.Зиновьевым и Г.П.Щедровицким идею антиномий как движущей силы развития научной мысли. При этом при анализе причинности я отстаивал довольно-таки тривиальную с современной точки зрения идею о том, что причинность является лишь одной из форм связи и она не может покрывать всего их многообразия. Эта, повторяю, с нормальных позиций простая мысль вызвала, однако, нарекания и обвинения в подрыве принципа детерминизма. Положение усугублялось тем, что в это время после «обсуждения» тезисов Ильенкова и Коровикова на факультете пошла атака на т.н. гносеологов, Ильенков и Коровиков вынуждены были уйти с факультета, а в известной мере это отразилось на всех нас, пытавшихся заниматься теорией познания и методологией науки, — кстати, в то время последний термин еще не получил распространения, говорили о логике познающего мышления, логике науки и т.п. Г.П.Щедровицкий же в конце 50-х гг. выдвинул идею содержательно-генетической логики. В этот период я работал, прежде всего, вместе с Г.П.Щедровицким и под его руководством. Сейчас по прошествии многих десятков лет я с глубокой благодарностью вспоминаю Г.П.Щедровицкого, ту работу, которую он вел с нами. «Юра», как мы называли его, сыграл громадную роль в моем формировании и в научном, и в человеческом плане. Те сложности, которые имели место в дальнейшем в наших взаимоотношениях, никоим образом не могут затмить всего того светлого, что было в это время. К тому же надо подчеркнуть, что эти сложности имели место в очень короткий период времени, впоследствии же мы всегда находились с Г.П.Щедровицким в дружеских отношениях вплоть до его кончины. Примыкая к группе А.А.Зиновьева и Г.П.Щедровицкого, я в то же время всегда с большим уважением и вниманием относился к идеям Э.В.Ильенкова, который, кстати, вел у нас на старших курсах занятия, и я помню, что я выступал у него с докладом на семинаре. Впоследствии у нас сложились довольно тесные человеческие отношения, особенно уже в Институте философии, хотя я далеко не всегда разде-

лял его теоретические позиции и в плане его известной концепции «тождества мысли и бытия», и в понимании процесса восхождения от абстрактного к конкретному, и в истолковании предмета философии. Параллельно с работой над дипломом я на 5-ом курсе стал серьезно заниматься изучением западной философии и методологии науки. В частности, я перевел работу Р.Карнапа «Основания логики и математики» из серии т.н. энциклопедии унифицированного знания. Эти занятия заложили основу моих дальнейших исследований неопозитивистской концепции логики науки, нашедших свое выражение в моей кандидатской диссертации, а впоследствии книги «Неопозитивизм и проблема эмпирического обоснования науки» 1966 г.

Философский факультет я закончил в 56 г. с красным дипломом. Я, как и ряд моих сокурсников, мог вполне рассчитывать на поступление в аспирантуру, однако нам «повезло» — вышло постановление о том, что в аспирантуру можно поступать только имея определенный стаж практической работы. Поэтому я с конца 1956 г. по декабрь 1959 г. проработал в Институте научной и технической информации (ВИНИТИ) и только в декабре 1959 г. был зачислен в аспирантуру Института философии АН СССР. С тех пор, за исключением небольшого перерыва в 1964-1969 г., когда я уходил на философский факультет МГУ, я нахожусь в коллективе Института философии.

Выбирая тему кандидатской диссертации я по юношеской опрометчивости поначалу попытался сочетать критический анализ неопозитивистской концепции логики науки с разработкой позитивных проблем, но вскоре убедился в невозможности сочетать в диссертации оба эти направления и целиком сосредоточился на первом. В 1962 г. я защитил кандидатскую диссертацию на тему «Критика неопозитивистской концепции логики науки», которая легла в основу моей книги «Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки» (1966 г.). Эта книга, как и вообще мои работы по критическому анализу философско-методологических воззрений неопозитивизма, получила положительную оценку философской общественности¹. Разделяя, в целом, эту позитивную оценку, кое-кто был склонен сводить ценность моих исследований только к информации нашей философской общественности о взглядах неопозитивистов. Я и с позиции нашего времени никак не могу согласиться с подобным мнением. Безусловно, книга и другие мои работы по этой тематике давали, надеюсь, объективную, лишенную официозной идеологической заданности, такую информацию. Но моя цель отнюдь не ограничивалась добросовестным изложением и подытоживанием неопозитивистских концепций, она включала именно критический анализ

этих концепций, тех противоречий, трудностей реализации, вынужденных отходо́в от первоначальных программ, которые имели место в истории неопозитивизма, его исходных принципов, пороков и слабостей. Демонстрация несостоятельности резкого противопоставления т.н. контекста оправдания и контекста открытия, отсутствия четкого решения проблемы теоретических конструкторов, выявление несостоятельности предлагавшихся вариантов принципа эмпирической проверяемости, вынужденного отказа от гносеологической субстантивной трактовки различения аналитической и синтетической истинности в науке в пользу ее функционально-методологической интерпретации, показ несостоятельности выдвигавшихся критериев научной осмысленности — все это выдержало проверку временем и в определенной мере предвосхитило постпозитивистскую критику 60-70-х гг., и уж во всяком случае вполне согласуется с ней. Слепая же вера в логический позитивизм как истину в последней инстанции, имевшая место у многих наших «методологов науки», кажется сейчас каким-то нелепым анахронизмом.

После завершения работы по критическому анализу логического позитивизма мой интерес стали привлекать более широкие и принципиальные проблемы общеполитического характера, вопросы соотношения философии и науки, типов и уровней методологического анализа и т.п. Так, в этот период с М.К.Мамардашвили и Э.Ю.Соловьевым я участвовал в разработке темы соотношения классической и современной философии и непосредственно участвовал в написании текста статьи «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии» (в книге «Философия в современном мире. Философия и наука. М., Наука, 1972), где мне принадлежит последний раздел, посвященный логическому позитивизму и аналитической философии. Вдохновителем же всей этой работы, автором самой идеи различения понятий классической и постклассической философии, получившей впоследствии широкий резонанс в отечественной философской общности, был безусловно М.К.Мамардашвили. Также меня очень интересовала тема соотношения философского и научного сознания, что нашло отражение в моей статье «Философия и проблемы исследования научного знания» (в книге «Философия в современном мире. Философия и наука. М., Наука, 1972).

С темой соотношения философского и специально-научного сознания органически была связана тема оценки сциентизма и антисциентизма. Эту тему мы начали разрабатывать совместно с Э.Г.Юдиным, с которым в это время я начал активно сотрудничать.

Результатом этой совместной работы явилась в первую очередь статья «О т.н. сциентизме в философии» («Вопросы философии», 1969, № 8). Наша дальнейшая разработка этой достаточно актуальной в тот период темы получила свое выражение в написанной совместно с Э.Г.Юдиным брошюре о сциентизме и антисциентизме (изд-во «Знание», 1973). Мы с Э.Г.Юдиным хотели написать целую книгу о сциентизме и антисциентизме и для этого были все возможности, но помешала безвременная смерть этого моего друга, выдающегося философа, умелого организатора научной деятельности (это произошло в начале 1975 г.).

Меня в этот период в значительной мере интересовали также проблемы специфики социального познания и мною была написана статья «К проблеме специфики социального познания» («Вопросы философии», 1972, № 3). Она, наверное, была неплоха для своего времени, но я очень сожалею о том, что мой неугасающий интерес к теме специфики знания о социуме и человеке не получил до сих пор четкого выражения в какой-либо отдельной специальной развернутой работе, хотя, конечно, что называется «по пути» затрагивал эту тему в своих работах, связанных и с проблемой теоретического и эмпирического, и с проблемой научной рациональности. Соотношение философского и специально-научного знания в аспекте специфики философского уровня методологического анализа по сравнению со специально-научными уровнями методологического анализа рассматривались также в совместной с В.А.Лекторским статье «Методологический анализ науки» (в кн. «Философия, методология, наука». М., 1972). Развернутую характеристику этой работы дал В.А.Лекторский в своей беседе с Л.Н.Митрохиным, опубликованной в посвященном своему 70-летию труде, подчеркнув, в частности, значимость для того времени различения философского и специально-научного уровней методологического анализа, и я вполне согласен с его оценкой².

Как видно из сказанного выше, вся моя работа второй половины 60-х — начала 70-х гг. так или иначе была в основном связана с уяснением, прежде всего, самому себе принципиальных вопросов о характере и функциях философского знания, о его месте в культуре, о его связях с наукой и его специфики по сравнению с последней, с осмыслением неизбежно возникающей в этом контексте проблематики специфики мировоззренческого сознания, соотношения рационально-теоретического и ценностного в человеческом сознании. Проблема своеобразия предмета философии и ее функций в культуре была, на мой взгляд, острой и даже в какой-то мере болезненной для

моего поколения «думающих» молодых философов с самого начала их эмансипации от официозной догматики. Для всех нас была совершенно ясна неконструктивность принятого в советской философии определения философии как науки о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. На основе этого определения никак нельзя было выработать сколько-нибудь удовлетворительного понимания соотношения философии и специальных наук, если не возвращаться к полностью изжившему себя взгляду на философию как науки наук. Было ясно, что вообще нельзя дать рациональное истолкование соотношения философии и конкретной науки, если продолжать их сопоставлять в пространстве однородного предметного содержания, проводя различия по степени общности, широте охвата этого содержания и т.п. В нашем сообществе молодых гносеологов и методологов пытались ответить на вопрос о специфике философии по сравнению с конкретной наукой, подчеркивая ее рефлексивно-методологические функции по отношению к научному знанию. Этот подход, конечно, давал определенную перспективу деятельности, выводящую из тупика официозного догматизма. Сейчас, однако, достаточно ясна его определенная сциентистская ограниченность. Такой подход, в частности, в практическом плане функционирования нашего философского сообщества в целом не обеспечивал возможности конструктивного сотрудничества с противниками официозного догматизма, интересовавшимися не столько вопросами философии науки, сколько этической и социальной проблематикой, теми формами сознания, которые Маркс в свое время называл духовно-практическими формами освоения действительности. А надо сказать, что если первые бреши в официозном догматизме пробили все-таки молодые гносеологи и методологи, то в 60-е годы появляются соответствующие прорывы и в области моральной и социальной философии, философии истории. Я не рассматриваю здесь специально эти процессы, но они сыграли большую роль в дедогматизации нашей философской мысли, и я могу сказать за себя, что я всегда живо ими интересовался и они бесспорно оказали значительное влияние на мое духовное развитие.

Как бы то ни было, в середине 60-х гг. я достаточно четко осознал узость гносеолого-методологической концепции философии. На развитие в этом направлении на меня оказывало воздействие, конечно, более серьезное изучение истории философии, того ее пласта, который прежде всего был связан с формами духовно-практического освоения мира, к которому, что греха таить, в годы нашей «гносеолого-методологической» юности мы относились без должного внима-

ния и уважения. В плане личной самокритики я могу привести такой пример: в свое время в аспирантском семинаре К.С.Бакрадзе, которого приглашали для работы с аспирантами в наш Институт философии, я сделал доклад о концепции познания Канта и Гегеля. Доклад, как и сейчас я полагаю, был достаточно удачным, но я считал возможным анализировать позиции Канта относительно теоретического разума без какого-либо обращения к его нравственной философии, искренне думая, что все это не имеет отношения к тому, что должно меня в Канте интересовать. Большое воздействие на преодоление подобных, прямо надо сказать невежественных с точки зрения серьезной философской культуры позиций оказало на меня, в частности, изучение известного сборника статей русских философов начала XX века «Проблемы идеализма». Именно изучив этот сборник, я четко понял своеобразие проектно-конструктивной функции философии по отношению к человеческой культуре, ее ценностные мировоззренческие измерения, пришел к ясному пониманию философии как формы мировоззренческого сознания, что сразу же давало систему координат, в которой можно было осмысленно рассматривать и отношения философии с другими формами мировоззренческого сознания, в частности, что очень важно, с религией, и ее отношения с наукой, и специфику философского подхода к познанию, который не должен заикливаться на частностях анализа различных форм и приемов последнего, а в первую очередь предполагает осмысление рационально-теоретического познания как определенного типа мироотношения наряду с другими его типами в общем контексте культуры и человеческой деятельности. Специфика же философии в осуществлении ее мировоззренческих функций построения моделей взаимоотношения человека и мира, построения моделей «предельных оснований» этого взаимоотношения заключается в том, что эти мировоззренческие функции осуществляются философией в рамках и на основе рационально-рефлексивного сознания. Эти представления, к которым я пришел во второй половине 60-х гг., были уточнены и развиты в процессе совместной работы с Э.Г.Юдиным, В.А.Лекторским и А.П.Огурцовым над статьей «Философия» в 5-м томе «Философской энциклопедии» (1970 г.). В этой статье я также участвовал в написании раздела о немецкой классической философии, сутью которой я всегда живо интересовался, начиная со времен моей философской юности. Конечно, сейчас, наверное, мы сформулировали бы как-то иначе некоторые моменты в этой статье, но в целом эта статья, я считаю, была нашим серьезным достижением и, главное, точка зрения на философию, развитая в ней, отнюдь не потеря-

ла своего значения и сейчас. Впоследствии я воспроизвел ее принципиальные моменты в своих статьях «Философия» в шестом и в последнем седьмом (2001 г.) изданиях «Философского словаря» под редакцией покойного академика И.Т.Фролова.

Раз уж упомянул о написании раздела о немецкой классической философии в статье «Философия» в «Философской энциклопедии», скажу несколько слов о моем отношении к диалектике. Последняя, как известно, зачастую подвергается сейчас полному ostracismu. На мой взгляд, ее не надо было превращать в свое время в некий идол, а в наше время не следует полностью отрицать ее значимость. Диалектику, как она была развита в немецкой классической философии Фихте и Гегелем, можно рассматривать как определенную концепцию развития теоретической мысли, движущей силой которого выступает выявление и разрешение на новом уровне этого развития противоречий познания. Понятие разумного мышления, противопоставляемое понятию рассудка, оказывается, как я пытался показать в своих дальнейших исследованиях проблемы рациональности, определенной интерпретацией открытой рациональности, тогда как рассудок связан с «закрытой» рациональностью. Важно не канонизировать «мертвую букву» этой концепции со всеми ее ограниченностями и даже пороками, как она выступает в контексте учения Гегеля, а видеть ее живое содержание, позитивное зерно которого несомненно можно выявить с позиций современной методологии. Эту позицию я стремился реализовать в своей статье «Диалектическая традиция исследования конструктивных процессов мышления и современная методология науки» (в кн. «Проблемы методологической диалектики как теории познания», «Наука», 1979). Ясно, что эта позиция отличается как от квазигегельянской (и квазимарксистской) апологетизации диалектики, так и негативизма по отношению к ней со стороны некоторых зацикленных на антигегельянстве узко сциентистски ориентированных представителей философии наук и некоторых специалистов по логике, которые не хотят видеть в этой проблеме ничего кроме действительно не оправданных притязаний на создание новой диалектической логики, противопоставляемых логике формальной. Для того, чтобы преодолеть обе эти крайности, надо без предвзятости посмотреть на реальные механизмы развития знания, получившие свое исторически безусловно ограниченное выражение в диалектике, как она была развита в немецкой классической философии, и, главное, уметь сопоставлять диалектику с современными методологическими представлениями, чего как раз не умеют делать представители обеих упомянутых крайностей. Эту свою позицию я изложил

и конкретизировал в своей статье «Как нам относиться к диалектике» («Вопросы философии», 1995, № 1), которая была написана в связи с оценкой известной работы К.Поппера «Что такое диалектика» — вместе со мной по этой теме в этом номере журнала выступили также В.Н.Садовский и В.А.Смирнов.

Сформулированная мною выше общая концепция оценки диалектики конкретизируется также и относительно частных тем — восхождение от абстрактного к конкретному, проблемы исторического и логического. Я — противник противопоставления восхождения от абстрактного к конкретному современным представлениям о разворачивании систем теоретического знания. С моей точки зрения, понятие «восхождение» может быть, так сказать, погружено в эти современные представления, редуцировано к ним (см. «Теоретическое и эмпирическое в научном познании». М., 1978. С. 345; «Восхождение от абстрактного к конкретному и современная логика и методология научного познания» (в кн. «Теория познания». В 4 тт. Т. 3. Раздел 3, под ред. В.А.Лекторского, Т.Т.Ойзермана), «Восхождение от абстрактного к конкретному» («Новая философская энциклопедия». Т. 1. М., 2000). Таким образом, понятие восхождения от абстрактного к конкретному не есть какая-то марксистская идеологическая пустышка, а известная историческая форма осмысления реальных процессов развертывания теоретических систем. Аналогично и известная проблема исторического и логического, сформулированная Марксом и Энгельсом, также связана с достаточно важными реальными проблемами методологии изучения развивающихся систем (см. мою статью «Логическое и историческое» в «Новой философской энциклопедии». Т. 2. М., 2001).

С начала 70-х гг. основной темой моих изысканий становится проблема теоретического и эмпирического в научном познании. Первым их результатом явился ряд статей в середине 70-х гг., затем я защитил в 1977 г. докторскую диссертацию на тему: «Теоретическое и эмпирическое как проблема философско-методологического анализа науки», а затем в 1978 г. вышла моя книга «Теоретическое и эмпирическое в научном познании». Замечу, что я считал и считаю, что название диссертации более точно отражало замысел работы — он заключался именно в анализе проблемы, стоящей перед философией и методологией науки. В значительной мере мои занятия этой проблемой были логическим продолжением моего критического исследования неопозитивизма. Как известно, его сторонники были в свое время вынуждены отказаться от концепции сводимости научного знания к эмпирически данному и признать неустранимость т.н. теорети-

ческих конструктов из языка науки. Именно это признание возымело роковые следствия для всей по-своему стройной и последовательной концепции науки «логического эмпиризма». Но в позднем логическом эмпиризме имело место признание по существу прагматической нецелесообразности редукции теоретических конструкций, отсутствия объяснения существования теоретических конструктов как компонента научного знания, необходимость которого вытекала бы из самой сути научного знания, если угодно, из его понятия. Я в своих работах и ставил перед собой задачу предложить определенную схему такого выведения из представления науки как некоего идеального объекта, в самой структуре которого заложен был бы механизм наличия теоретического и эмпирического как необходимых моментов, «параметров», «размерностей» становления, функционирования и развития научного знания. Крах примитивной, но ясной и четкой концепции взаимоотношения теоретического и эмпирического в науке, подчеркиваемая в методологии науки после этого краха сложность этого взаимоотношения, в частности, осознания известного феномена т.н. эмпирической нагруженности теоретического знания породили сильный скепсис относительно возможностей вообще четких критериев различения теоретичности и эмпиричности в науке. Получило распространение мнение, что «не существует строгих критериев различия между теоретическим и эмпирическим» и что «типология теоретического и эмпирического является слишком глобальной; она не учитывает многообразия существующих в научном познании типов терминов и предложений и должна быть замещена более дифференцированной типологией»³.

Я хотел бы подчеркнуть, что подобный подход после краха простых и понятных позиций т.н. стандартной концепции анализа науки, развивавшейся в лоне логического эмпиризма, получил распространение и в отношении других основополагающих методологических понятий, в частности, и в отношении самой науки в ее сопоставлении с вненаучными формами сознания, в отношении научной рациональности и, более широко, рациональности вообще. Поэтому я полагаю, что ему надо дать достаточно принципиальную оценку. Ясно, что всякая типологизация предполагает известное огрубление действительности, что мы имеем дело с идеальными типами, используя терминологию М.Вебера, в реальности всегда существуют всякого рода «скользящие границы», «промежуточные формы» и пр. Отсюда вытекает, что исходная типологизирующая модель рассмотрения сложной и многообразной реальности не может быть непосредственно применена для квалификации конкретных фено-

менов этой реальности. Применение такой модели всегда предполагает соответствующие опосредствующие шаги, то есть известный процесс восхождения от абстрактного к конкретному. Построение подобной идеализирующей типологизирующей модели, установление оснований типологии представляет собой исходный пункт исследования многообразия реальности, связанной с определенной проблематикой, благодаря этому очерчивается то мысленное пространство, в рамках которого происходит дальнейшая дифференциация и конкретизация соответствующего понятийного аппарата. Основания типологизирующей модели задают единство многообразия исследуемой проблематики. «С ходу» отказываясь от попыток построения подобных моделей, — теоретического и эмпирического ли, научной ли рациональности, рационального мышления вообще — философ или методолог, с моей точки зрения, фактически уклоняются от решения своих задач, пасуя перед действительно существующими трудностями осмысления с позиций теоретического мышления многообразной, так сказать, многоликой реальности.

В моем исследовании проблемы теоретического и эмпирического такой исходной типологизирующей моделью оказалось выделение двух органически связанных и друг друга предполагающих видов работы с понятийным аппаратом в рамках научного мышления — вектора деятельности, направленного на применение этого аппарата в виде норм, эталонов, схем, моделей для освоения внешнего по отношению к научному знанию задаваемого в результате наблюдения и эксперимента материала (экстенсивная функция научного познания) и вектора деятельности, направленного, так сказать, внутрь научного знания, на сами концептуальные формы последнего, на их формирование, совершенствование и развитие (интенсивная функция научного познания). Наличие этих двух векторов, двух функций, с моей точки зрения, выступает системообразующим признаком науки. Их различие имеет свои корни в исходной бивалентности, «двухразмерности» семантических единиц, как они существуют уже на донаучном уровне, однако здесь эти «размерности» выступают в недифференцированном синкретическом виде. Специфической особенностью формирующегося в философии и науке рационального сознания является прежде всего рефлексия по отношению к налично данным неререфлексивно употребленным средствам познания. В рационально-ререфлексивном сознании внутреннее содержание средств познания, определяющее возможное поле их применения и всегда выступающее в неререфлексивном сознании в контексте этого применения как нечто неразрывно связанное с их применением, как «мысль в мире»,

выделяется в качестве предмета специального исследования, что приводит к обособлению теоретического (в широком смысле, охватывающего и философию, и науку в целом с ее эмпирической «размерностью») и практического мышления. Формируется особая реальность «теоретических сущностей» или «идеальных предметов», мысль в мире превращается в мысль о мире (термины С.С.Аверинцева и М.М.Бахтина). Но эта реальность культурно-семиотически объективированных теоретических понятий и идеальных предметов в конечном счете не может быть замкнутой на самое себя, чтобы работа в ее рамках не превратилась бы в «игру в бисер», она должна иметь выход в мир независимой от человека и его культурно-семиотических артефактов подлинной реальности, система теоретических «конструктов» должна иметь каналы обратной связи с этой подлинной реальностью, этими каналами являются приемы эмпирического исследования (следует отличать это понятие от понятия эмпирического познания), доставляющие информацию, препятствующую замыканию в себе концептуального аппарата науки. Информация, доставляемая эмпирическим исследованием, так или иначе должна быть ассимилирована концептуально-теоретической системой науки, иначе эта информация не может стимулировать ее к развитию, что и порождает известную проблему «концептуально-теоретической нагруженности» научной эмпирии. Последняя, тем самым, представляет собой достаточно сложное структурно-функциональное образование, «материя» которого (в аристотелевском смысле) задается эмпирическим исследованием, а организующая эту материю форма определяется используемыми концептуальными средствами.

Не существует и не может существовать «предложений чистого опыта», ибо всякое выражение опыта, то есть непосредственного контакта человека с действительностью, в языке получает концептуально-семиотическое опосредствование. Но можно и должно выделять эмпирический уровень научного знания, являющийся результатом осмысления и истолкования информации, полученной в результате опытного исследования. Иначе говоря, критерием эмпиричности выступает не свобода от концептуально-теоретической интерпретации — это невозможно, а направленность мысли на результаты опыта, в отличие от движения мысли внутри концептуально-теоретических систем.

Такова в общих чертах та исходная модель, которая была предложена мной для анализа теоретического и эмпирического в науке. Характерной ее особенностью является то, что в ней исходные основания различения теоретичности и эмпиричности связываются с сами-

ми истоками науки как формы рационально-рефлексивного сознания, превращающего используемый концептуальный аппарат в предмет специального исследования. Отметим, что эмпирическое рассматривается здесь не субстантивно, как некоторый независимый базис, над которым возвышается теоретическая надстройка, а как функциональное образование, необходимое для выполнения наукой своих задач осмысления действительности. Корни же теоретичности, которая обычно связывается с построением и развитием сложных теоретических систем, усматриваются в необходимо присущей науке функции рефлексии над своими понятийными средствами, а собственно теории в их развитых формах — «развертка» возможностей этого рода деятельности. При таком подходе становится ясно, в частности, что напряженность концептуально-теоретической работы не обязательно связана с построением сложных теоретических систем, доминирующих в развитом математизированном естествознании, — вывод, весьма важный для других видов науки.

Сформулированная выше модель была положена далее мной в основу применения понятий теоретического и эмпирического для анализа истории науки. В своей книге «Научное познание как деятельность», вышедшей в Политиздате в серии «Над чем работают, о чем спорят философы» в 1984 г., я выделил три исторических типа науки: 1) теоретическую замкнутую науку — ею была античная геометрия; 2) эмпирическую описательную науку; 3) «открытую» теоретическую науку с обратной связью от эмпирии. Специфика и ограниченность эмпирической стадии науки по сравнению с теоретической состоит в том, что в ней не существует дифференцированного, способного к саморазвитию в рамках теоретической системы концептуального аппарата. Эмпиричность в этом контексте выступает тем самым как недостаточное развитие теоретичности, что не означает, однако, что здесь вообще отсутствует концептуальный аппарат и отсутствует деятельность по его совершенствованию и развитию. Эмпирическая стадия науки предполагает определенную онтологию научной картины мира, классификацию типологии, т.е. первичные концептуальные объяснения, эмпирические законы и т.п. Превращение концептуального аппарата науки в концептуально-теоретический аппарат и, соответственно, превращение работы с концептуальным аппаратом в собственно теоретическую деятельность проходит ряд этапов. Следует говорить, таким образом, о степени теоретизации концептуального аппарата науки, о градации фаз его развития. На эмпирической или, может быть, в данном контексте лучше сказать дотеоретической, стадии науки можно, таким образом, выделить бо-

лее дробные генетические этапы (см. «Теоретическое и эмпирическое в научном познании. С. 160–165). Характерной же особенностью теоретической стадии науки является существование сложных дифференцированных теоретических систем, способных в известных пределах к саморазвитию, к экспликации заложенных в их идеализированных теоретических объектах возможностей.

В процессе разработки проблемы теоретического и эмпирического самой логикой своей работы я был вынужден обращаться к более частным методологическим темам, среди которых отмечу анализ понятий факта и объяснения, в отношении которых я, как мне представляется, смог предложить достаточно оригинальную и конструктивную позицию (см. «Опыт как фактор научно-познавательной деятельности» (совместно с В.А.Шагеевой). Аналитический обзор. М., ИНИОН АН СССР. 1983. С. 48-53; «Объяснение» («Новая философская энциклопедия». Т. 3. М., 2001). В 1984 г. вышла уже упоминавшаяся мной книга «Научное познание как деятельность», в которой я попытался в лаконичной и достаточно популярной форме изложить мои основные представления о характере научно-познавательной деятельности, а в 1988 г. в издательстве «Наука» была опубликована монография «Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы», где я рассматривал основные направления исследования научного познания в отечественной философско-методологической литературе и за рубежом и постарался охарактеризовать преобладающие тенденции развития представлений о научном познании, проявившиеся в середине 80-х гг. Эта проблематика, замечу, во многом стала исходной для моих исследований проблемы научной рациональности уже в 90-е гг. Важной вехой в моей работе в 80-е гг. стало участие в авторском коллективе по написанию учебника «Введение в философию» под руководством И.Т.Фролова, первое издание которого вышло в 1989 г. (В настоящее время опубликовано его второе издание). В этом труде я написал главы о психике и сознании и о практике. Обе эти темы всегда очень интересовали меня. Без четкого осмысления, в первую очередь для самого себя, обеих этих тем, как мне представляется, вообще нельзя быть достаточно квалифицированным философом. К проблематике, связанной с сущностью психики и сознания, я постоянно обращаюсь в своей преподавательской работе. Меня всегда привлекала задача выработать некое целостное представление о развитии типов мироориентации живых существ от ее исходных генетических форм до собственных человеку форм сознания и познания. Что же касается практики, то нетривиализированный в официальном диамате смысл этого понятия, выдвинутого ранним Марксом должен

быть ассимилирован именно в современной, с моей точки зрения, неклассической философии. Кроме того, рассмотрение понятия практики входит в контекст анализа более широкой категории деятельности и оценки т.н. деятельностного подхода, которые выступают одним из направлений моей работы в настоящее время.

В начале 90-х гг. мои теоретические интересы сосредоточились на проблеме научной рациональности. Это, с одной стороны, было логическим продолжением и в значительной мере обобщением занятий теоретическим и эмпирическим и вообще моих философско-методологических исследований наук. С другой стороны, эта проблематика к этому времени достаточно серьезно обострилась в философии наук как за рубежом, так и у нас. Как известно, к концу 20 столетия произошла значительная «переоценка ценностей» относительно науки, ее места в культуре и человеческой жизнедеятельности. Все больше сдавал свои позиции широко распространенный прежде не критический сциентизм, для которого, по удачному выражению Г.Рейхенбаха, вера в науку в большой степени заменила веру в Бога. Отчетливо выявившиеся негативные антигуманные последствия научно-технической цивилизации породили активную оппозицию этому культу науки, когда последнюю сделали ответственной за грехи и пороки этой цивилизации. Эта критика науки сочеталась с внутренним кризисом постпозитивистской философии науки, когда отказавшись от неопозитивистских критериев научной рациональности эта философия науки оказалась не в состоянии выработать удовлетворительные критерии научности, решить проблему демаркации научного и ненаучного. Мои исходные установки по отношению к этой ситуации сводились к тому, что, соглашаясь с возражениями против неумеренных притязаний агрессивного сциентизма, понимая несостоятельность абсолютизаций классических форм научной рациональности, нельзя в то же время отвергать ценность научной рациональности как выдающегося завоевания человеческой культуры. Критика и преодоление скепсиса или негативизма в отношении к науке должны при этом исходить из того, что эти скепсис и негативизм основываются, прежде всего, на неправомерном сужении образа научной рациональности, на сведении его к частным, ограниченным формам или даже искаженным, вырожденным формам, на ограничении возможностей научной рациональности построения научных картин и моделей мира некоторым узким содержанием.

Критико-рефлексивный анализ научного познания с этой точки зрения, который дал бы возможность преодолеть как его неоправданную апологетизацию, так и скепсис в отношении его возможностей,

по моему мнению, должен исходить из необходимости разграничения понятий открытой научной рациональности, закрытой рациональности и догматической псевдорациональности. Закрытая научная рациональность связана с деятельностью внутри пространства, очерченного существующими исходными положениями науки, будь то парадигма, научная картина мира, теория, отдельная гипотеза. Таким образом, понятие закрытой рациональности шире понятия научной деятельности внутри определенной парадигмы, если только не трактовать последнюю предельно широко. Закрытая научная рациональность может решать различные задачи, среди которых выявление потенциально заложенного в исходных положениях концептуальной системы неявного содержания, ассимиляция на основе этой системы новой эмпирической информации и т.п. Открытая же научная рациональность предполагает установку на выход за пределы фиксированной готовой системы исходных познавательных координат, за рамки конструкций, ограниченных заданными предпосылками. Именно при работе в режиме открытой рациональности научное познание в полной мере способно реализовать свой творческий потенциал, преодолеть вполне реальные опасности догматизации тех или иных позиций. Подобная догматизация, когда исходные положения превращаются в нечто неприкасаемое, когда отрицается сама возможность их альтернативы, выхода за их пределы, ведет к вырождению научной рациональности в догматическую псевдорациональность. Драматичным примером такой догматизации явилась судьба официозного марксизма. Опыт последнего свидетельствует о том, что при известных социальных условиях представления, претендующие на научную рациональность и даже сохраняющие внешние признаки таковой, вырождаются в сущности в формы догматически-авторитарного сознания, принципиально враждебные той свободе, критичности, «открытости» мысли, которые всегда рассматривались как атрибуты научно-рационального сознания. В этом контексте я отмечал, что можно говорить о существовании в советском обществе своего рода официозного псевдосциентизма, который составлял часть господствующей идеологии. В отличие от идеологий нацистско-фашистского, расистско-шовинистического, религиозно-фундаменталистского типа, которые не заигрывали с идеалами рациональности и научности, официозно-коммунистическая идеология пыталась выступать от имени науки, и одно это принуждало прокламировать последнюю как признанную идеологическую ценность.

Таким образом, анализ научной рациональности с позиций сформулированной выше типологии показывает, что наука априори не свободна от опасностей догматизации, которая может происходить и в

более мягких формах, не обязательно приводя к авторитарно-догматистскому вырождению науки, но вместе с тем своеобразие науки в отличие от последовательно догматистских форм сознания заключается в том, что она способна приводить в действие механизмы «открытости» и самокритики, а это-то и составляет ее непреложную культурную ценность, которую надо оберегать и воспроизводить. Важным выводом, который я также стремился подчеркнуть, явилось то, что критерии научной рациональности нельзя связывать с каким-то определенным содержанием как таковым, что эти критерии лежат в плоскости работы с содержанием того или иного типа. То, что представляется странным или даже невозможным в рамках принятой в известное время научной картины мира, может быть освоено и осмыслено на ином уровне исходных предпосылок. Научная рациональность в своей открытости и самокритичности должна руководствоваться не сакраментальной фразой «этого не может быть, потому что оно невозможно с научной точки зрения», а скорее шекспировским изречением о тайнах мира, недоступных нашим мудрецам. Необходимо, в частности, внимательное и уважительное отношение к альтернативным картинам мира, возникающим в иных культурных и мировоззренческих традициях, нежели наша современная наука.

Предлагаемая мною типология закрытой и открытой научной рациональности и догматической псевдорациональности была сформулирована в статье «Рациональность как ценность культуры» («Вопросы философии», 1992, № 6), впоследствии эта статья под названием «Рациональность в спектре ее возможностей» была перепечатана в труде «Исторические типы рациональности», т. 1, М., 1995. Несколько уточненная, в частности, в связи с более точным рассмотрением отношений «закрытости» и «открытости», эта позиция была представлена в моей главе в работе «Рациональность на перепутье», кн. 1, М., 1999. Наконец, последняя, более полная версия этой типологии, включенная в контекст рассмотрения рациональности в целом и в связи со спецификой открытости в современной рациональности, содержится в книге «Рациональность как ценность культуры: традиция и современность».

Исследование проблемы научной рациональности естественным образом выводило меня на тематику рациональности вообще, ибо научная рациональность, как я пытался подчеркнуть, является формой развития рефлексивно-рационального сознания. Более конкретно: наука в современной цивилизации выступает как наиболее последовательное и полное выражение рационального начала в мироотношении человека. Вполне осмыслить науку европейского типа можно

только в контексте рассмотрения рационального начала в целом. Между тем, как и в ситуации с наукой в последние десятилетия 20 века мы наблюдаем достаточно глубокий кризис самой идеи рациональности. По удачному выражению П.П.Гайденко, «вместо одного разума возникло много типов рациональности». Современное «неклассическое» сознание вынуждено признать существование и в науке, и в культуре в целом многообразия различных, не сводимых к какому-либо общему знаменателю единого «рацио», частных парадигм, каждая из которых претендует на рациональность, но характеризуется своими нормами и стандартами. В интерпретации рациональности как типа социального действия распространение получил подход, который я называю концепцией «рациональности без берегов», когда, стремясь уйти от европоцентризма, любые формы упорядоченной и функционально оправданной социальной организации и человеческого сознания, — традиционного общества, мифологии — квалифицируются как «посвоему рациональные». Рациональность отождествляется, тем самым, с упорядоченностью и эффективностью действия. Размывается, таким образом, понимание рациональности как типа мироотношения, заключающийся в сознательном принятии допускающего альтернативы решения при рефлексивном контроле над своей позицией в определенной реальной проблемной ситуации, того «мужества пользоваться собственным умом», призыв к которому Кант называл девизом Просвещения⁴. Это «мужество пользоваться собственным умом», связанное со свободой, самостоятельного, а не навязанного поведения, детерминированного рефлексивно не контролируруемыми факторами, будь это различные автоматизмы психики, традиционные поведенческие штампы, просто грубый диктат извне, и является, как я стремился подчеркнуть, определяющей чертой рационального мироотношения, задающей единство многообразия его различных форм и видов как в сознании, так и в практическом действии. Вместе с тем, эта свобода принятия решения должна быть органически связана с ответственностью их принятия, обеспечивающей соразмерность позиций субъекта тому реальному положению дел, с которым он сталкивается, с той проблемной ситуацией, в которой он оказывается. Следует подчеркнуть, что сама по себе эффективность действия не может рассматриваться как достаточный специфический признак рациональности. Эффективность деятельности зачастую создает иллюзию рациональности там, где срабатывают совершенно иные ментальные механизмы, скажем, при инстинктообразном поведении или в традиционных обществах.

Итак, я стремился показать, что рациональность прежде всего связана с сознательным управлением собственным поведением, предпологающим специальные усилия сознания по анализу соразмерности позиции субъекта той реальной ситуации, в которой он находится. Иными словами, в ее основании лежат два органически связанные и взаимопредполагающие момента: рефлексивный самоконтроль и учет требований реальности. Эти основополагающие признаки рациональности, с моей точки зрения, достаточно широки, чтобы охватить различные формы рациональности и в то же время достаточно специфичны, чтобы отдифференцировать «рациональное начало» от иных форм мироотношения. Ясно, что рациональность тех или иных позиций и взглядов зависит не от того содержания, на которое они направлены, а от того, соблюдены ли при освоении этого содержания те принципы, о которых говорилось выше. Ясно также, что указанные признаки рациональности предполагают различные степени их реализации, что определяет относительность всякой рациональности. Несомненной ограниченностью классического рационализма являлось именно непонимание этой относительности, неполноты рационализации. Современная же самокритичная рациональность должна исходить из четкого осознания этой относительности и неполноты.

Охарактеризовав современное кризисное состояние идеи рациональности и сформулировав исходные признаки «рационального начала» в мироотношении человека, я в своей книге «Рациональность как ценность культуры: традиция и современность» постарался рассмотреть ту историческую перспективу, в которой осуществлялась судьба рациональности. По моему мнению, генетические корни рациональной мироориентации восходят к механизмам ориентировочного поведения, которое выходит за рамки автоматизмов и предполагает обследование реальной ситуации, примеривание к ней, формирование эффективного идеального плана действий в этой ситуации. У животных рамки подобного ориентировочного поведения определяются их витальными видовыми программами. У человека же ориентировочное адаптивное целесообразное поведение выходит за рамки витальной целесообразности и связано с ориентацией на социокультурные нормы и стандарты. При этом надо подчеркнуть, что в архаических и традиционных «закрытых» обществах формирование этих социокультурных ориентиров находится вне пределов рационального сознания. Генетически исходные формы рациональности — их можно называть прагматической, инструментальной или «бытовой» (С.С.Аверинцев) рациональностью — включены в функциони-

рование дорациональных или внерациональных парадигм, обслуживают эти парадигмы. Здесь, таким образом, не действуют и не могут действовать в отношении исходных определяющих социокультурных ориентиров и установлений принципы рациональности, предполагающие сознательный альтернативный выбор, личностную свободу и ответственность за принятие кардинальных для социума решений. Распространение этих принципов рациональности на сферу социокультурных «устоев», на социокультурное целеполагание в достаточно последовательной форме происходит в античной Греции и связано, как отмечают все исследователи, с возникновением полисной демократии. Зародившись как тип практического сознания в общественной жизни, исходные принципы критичного и самокритичного свободного и ответственного мышления начинают становиться отправными предпосылками обсуждения коренных мировоззренческих вопросов отношения человека к миру. Так формируется античная философия как рационализированная форма мировоззренческого сознания. Ее необходимым условием становится критико-рефлексивный анализ основополагающих «универсалий культуры» (термин В.С.Степина), что в принципе отличает античный «логос» от мифологии. В этом контексте я подвергаю критике рассмотрение мифа К.Хюбнером, являющееся, с моей точки зрения, проявлением концепции «рациональности без берегов». Зародившиеся в античной философии механизмы рационально-рефлексивного сознания распространяются далее и на формирование конкретно-научного мышления, которое выступает, таким образом, как своего рода «дочернее предприятие» философии.

В своем рассмотрении в историческом плане феномена рационально-рефлексивного сознания я специально обращаю внимание на необходимость его сбалансированной оценки, способности видеть как его положительные стороны, так и определенные опасности, которые связаны с его апологетизацией и догматизацией. В интерпретации рационального познания тенденции апологетизации и догматизации противостоят тенденции подчеркивания относительности возможностей рационального познания. Эта последняя тенденция получает свое развитие в современной «открытой» постклассической рациональности. Различие двух отмеченных выше тенденций четко проявляется в оценке возможностей рефлексивного контроля над используемыми познавательными средствами. Интенция на такой контроль заложена уже в истоках рационально-рефлексивного сознания. Однако в своем наиболее последовательном виде она нашла свою реализацию в классическом рационализме. В книге в этом контексте

подробно рассматривается классический тип рациональности Нового времени и Просвещения, понятие которой следует, на наш взгляд, отличать от понятия традиционной рациональности как более широкого, включающего, в частности, и античность. Отмечается, что классической рациональности в этом смысле противостоит линия научной рациональности, связанная с изучением природы, прежде всего, живой природы, как она существует независимо от идеализированных объектов галилеевско-ньютоновского математизированного естествознания. Мною особо обращается внимание на роль Канта в переходе от классической к неклассической рациональности, которого, с моей точки зрения, безусловно следует рассматривать как предтечу современной постклассической рациональности. В связи с этим надо сделать одно терминологическое замечание. Впервые в четком виде противопоставление классической и неклассической рациональности было сформулировано В.С.Степиным в его статье 1989 г. на основе перехода от чисто объектного подхода к рассмотрению познавательных предпосылок научной рациональности. Наряду с этим В.С.Степин выделил понятие «постнеклассической рациональности», когда выявляются не только познавательные, но и ценностные предпосылки деятельности ученых. Нисколько не отрицая правомерности привлечения внимания к специфике этих ценностных предпосылок, я все-таки исхожу, прежде всего, из различия классической и неклассической в широком смысле или, может быть, во избежание терминологической путаницы лучше говорить постклассической рациональности.

Определяющей предпосылкой перехода к постклассической рациональности у Канта, как известно, был отказ от представлений о непосредственном воспроизведении свойств реальности, как она существует сама по себе, и установка на выявление предпосылок, как бы мы теперь сказали, моделирования реальности в научных знаниях. Я отмечаю, что рациональность, тем самым, у Канта выступает, так сказать, на двух уровнях — на уровне «внутрипарадигмальной» на современном языке познавательной деятельности и на уровне философского критико-рефлексивного мышления, делающего рациональность в первом смысле своим предметом. Рациональность на этом втором уровне можно характеризовать как своего рода метарациональность, предметом которой выступает определенное отношение человека к миру, обусловленное теми средствами, которыми располагает человек. Заметим, что Кант, тем самым, выступает как основоположник деятельностного подхода к познанию. В то же время я подчеркиваю, что Кант оставался в русле классической традиции,

рассматривая априорные формы «теоретического разума» как единственно возможный способ научного познания, в современной терминологии, монологически. Последующее развитие методологической мысли привело к отказу от этого монологического классицистского постулата, к признанию существования различных интерпретационно-моделирующих концептуальных структур, носителями которых выступают соответствующие коллективные субъекты, то есть те или иные научные сообщества. Дальнейшее углубление и конкретизация представлений об этих исходных концептуальных структурах, связано с их осознанием обусловленности ценностными факторами сознания, о наличии в них т.н. человеческого измерения, что заставляет отказаться от кантовской идеи строгого разделения «чистого» теоретического и практического разума.

Итак, в своем рассмотрении современной постклассической рациональности я стремился показать, что существенные изменения претерпевает сама структура рационального сознания, если угодно, его онтология. Тем реальным положением дел, на которое оно направлено, в конечном счете выступает уже не мир независимых от человека объектов, а познавательное отношение человека к миру, которое реализуется в сложных взаимодействиях различных позиций научных сообществ как коллективных субъектов, являющихся носителями отдельных парадигм и исследовательских программ. В рамках этих парадигм и исследовательских программ действуют нормы и стандарты рациональности классического типа, но над ними надстраивается рефлексивная метарациональность, призванная констатировать реальность структуры научно-познавательной деятельности в охарактеризованном выше смысле. Принципиально важно понять специфику этой реальности по сравнению с объектной реальностью, с которой имела дело классическая рациональность. По существу эта реальность представляет собой рамочные условия проблемной ситуации, пользуясь традиционной философской терминологией, это реальность не Бытия, а становления. Современная рациональность на уровне метарациональности по отношению к гетерогенным когнитивным позициям в ее констатирующей функции может лишь указать на необходимость определенных действий в рамках проблемной ситуации. Следует специально подчеркнуть, что отход от монологизма классики отнюдь не ведет автоматически к переходу на позиции конструктивного диалогизма. Если мы рассматриваем последний как единственно рациональный выход из существующей проблемной ситуации, то современная рациональность должна перейти от констатирующей позиции к проектно-конструктивной позиции,

к проектированию рационального действия. Тем самым в современном рациональном сознании устраняется по существу различие констатирующе-познавательной позиции и рационального действия, которое было характерно для классики. Деятельность в рамках рационального решения познавательных задач становится частным случаем рационального социального действия вообще, в свою очередь, для современного понимания последнего очень важным оказывается учет опыта научно-познавательной деятельности. Заметим также, что охарактеризованная выше специфика фиксации рамочных условий проблемной ситуации, незавершенность открытости последней, требующей своего восполнения действиями субъекта, которое было выявлено при обсуждении современной постклассической рациональности, вообще очень остро дает о себе знать в гуманитарном познании, при рассмотрении т.н. человекообразных предметов, а также при анализе возможностей рационального осмысления личностно-экзистенциального опыта.

Важнейшим следствием приведенного выше анализа специфики современного подхода к рациональности, на мой взгляд, является отличие от классики понимание роли субъекта, при котором рациональность не противостоит его свободе и творчеству, а, напротив, предполагает их. Современная постклассическая рациональность, с моей точки зрения, действительно включает «осознание необходимости», вспоминая известную философскую формулу, только не необходимости подчинения внешне заданному положению вещей, а необходимости мобилизации творческих способностей человека, что соответствует понятию последнего на высоте своих возможностей, при выработке рациональных позиций.

Подобное представление о рациональности, как я считаю, имеет весьма важное значение для всей сферы гуманитарного познания и практики, в частности, для теории и практики процесса воспитания и обучения, для развития инновационных стратегий в этой области. Привлечением моего внимания к этой проблематике я обязан моей незабвенной супруге В.Я.Ляудис — видному психологу, разработавшей концепцию совместной продуктивной деятельности преподавателей и учащихся (см.: Ляудис В.Я. Инновационное обучение и наука. М., ИНИОН РАН, 1992). Я попытался применить свои идеи относительно современной рациональности к философии образования, выступая на семинарах по инновационному обучению, организованных моей покойной супругой, на I конференции по развивающей психологии как основе гуманизации образования. Мои позиции в этих

вопросах нашли свое отражение в статье «Проблемы философии образования и современная неклассическая рациональность» (Мир психологии, 1999, № 3).

Завершение книги «Рациональность как ценность культуры: традиция и современность», подытоживающей мои исследования темы рациональности в 90-х гг., не означает, однако, что я считаю полностью исчерпанной для себя эту тему, особенно в плане включенности этой темы в объемлющую ее проблематику полноты мироотношения человека. В настоящее время я пытаюсь осмыслить эту проблематику в контексте оценки с позиций современности деятельностного подхода к феномену человека. Я всегда активно интересовался вопросами, связанными с пониманием деятельности и деятельностного подхода, что нашло свое выражение в моем участии в книге-диспуте «Деятельность: теории, методология, проблемы» (М., Политиздат, 1990). Сейчас я возвращаюсь к этой тематике, конечно, уже с более широких позиций — см. мою статью «О деятельностном подходе в истолковании феномена человека» (попытка современной оценки) («Вопросы философии», 2001, № 2). Я продолжаю эту работу и надеюсь, что ее результатом станет небольшая монография на эту тему. Я также хотел бы в будущем, если позволит судьба, продолжить исследование принципиальных вопросов, связанных с осмыслением природы познания.

Завершая рассмотрение своего пути в философии, необходимо отметить, что важным аспектом моей философской деятельности была и остается преподавательская работа, и я надеюсь, что смогу продолжать ее и впредь. Будучи, конечно, все-таки в первую очередь научным работником, я на собственном опыте убедился, что преподавание является существеннейшим фактором стимулирования конструктивной научной мысли, своего рода «оселком» оттачивания ее качества. В заключение я хотел бы подчеркнуть, что мой путь в философии был далеко не легок, а в этом отношении я, конечно, разделяю судьбу всего своего поколения. Не говоря уже о всяких издержках идеологического характера, в чисто теоретическом плане нам приходилось затрачивать неоправданно большие усилия на то, что в иных условиях можно было достигать значительно легче, напомним, в частности, мои приведенные выше рассуждения о трудностях адекватного понимания природы философии. В этом смысле современное поколение, конечно, находится в лучшем положении. С другой стороны, у них, конечно, свои сложности и, честно говоря, я далеко не уверен, хотел бы я поменяться с ними местами.

Примечания

- ¹ В частности, одна из моих статей была переведена на английский и опубликована в издаваемом тогда в США журнале «Soviet Philosophy today». Кто-то, не помню кто, из американских читателей этого журнала в своей работе, посвященной также истории неопозитивизма, высказался в том духе, что «как это ни удивительно», полезный анализ этой тематики дан в моей статье.
- ² См.: Субъект, познание, деятельность. М., 2002. С. 60.
- ³ См.: Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1984. С. 4.
- ⁴ **Кант И.** Соч. В 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 27.